

Это произошло осенью.

День был, как мальчишка, отпущенный на каникулы, — озорной от солнца, которое, восстав против ранней осени, по-летнему ярко расщедрилось. И было так радостно ощущать на своем лице его теплые ладони и думать о том, что лето вовсе не простилось с нами, вот оно — в благодостной синеве неба, в цветущих клумбах и в том особом настроении, которое легко плещется в сердце, а то вдруг вздымается девятым валом восторга от несуетности и полноты жизни. Я стояла у конторы совхоза «Кумышский» и ждала машину, чтобы ехать по своим командировочным делам. Зеленые деревья успокаивала и дарила надежду, что золото листьев еще далеко, а может быть, и вовсе не наступит эта багряная пора. И вдруг, будто в отместку за дерзость мечты, желтый лист плавно опустился на мое плечо невесомо и надежно, как рука друга.

— Роняет лес багряный свой убор...

Я никогда, как и никто из живущих ныне, не слышала голоса Пушкина, но столько раз он чудился мне, снился по ночам, что наперекор логике, кажется, узнаю его из тысяч, миллионов голосов. Голос юного лицезста по прозвищу Француз, и удивительный в своем высоком волнении голос Пушкина, читающего в присутствии великого старца Державина стихи на выпускном экзамене, и голос, окрашенный нежной преданностью к друзьям, и голос, в котором яростное неприятие, ненависть к самодержавию в разговоре с Николаем I в мрачную пору после восстановления на Сенатской площади...

Я выплыла из воли далекого времени и осмотрелась.

Мимо меня прошел среднего роста мужчина, на упругие мальчишеские кудри которого нельзя было не обратить внимания.

— Здорово, Пушкин!

Две руки сошлись в крепком рукопожатии. Двое оживленно разговаривали, а я набиралась храбрости подойти и познакомиться: ведь нечасто такое совпадение — именно в минуту тайного разговора души с поэтом тут как тут его тезка.

На мой вопрос: «Имя или прозвище?» — незнакомец приветливо улыбнулся и достал из кармана паспорт. «Чтобы не было никаких сомнений», — сказал он с достоинством. Четкими буквами на первой странице было выведено: «Джанкёзов Пушкин Ханафович».

...Пятьдесят один год назад у Ханафи Дадьяновича и Ингиль Джумаруховны Джанкёзовых родился сын. Событие для каждой семьи не рядовое, всегда связанное с заботами и праздничной суетой. Принимали поздравления, угощали гостей, а на вопрос: «Как назвали сына?» отвечать не спешили — пока, мол, думаем. И вдруг Ханафи Дадьянович всех ошарашил: «Пушкин! Так звать моего сына».

Он впервые услышал о Пушкине на курсах ликбеза, совсем мало он тогда о нем знал — жил такой поэт, любил народ, не боялся ни царя, ни вельмож, за это они его и погубили.

В педучилище произошла вторая встреча с Пушкиным. Он с трудом постигал трудные русские слова, понимая и не понимая их, зато над музыкальностью стиха, полной волшебства и неразгаданности, не надо было трудиться: она была понятной и знакомой, как белоснежная красота Эльбруса, как говор неугомонной

речушки, на крутом берегу которой стоял отчий дом, как перезвон серебряных подвесок на поясе любимой девушки.

А однажды он услышал по радио стихотворение Пушкина «Памятник» и после этого долго не мог прийти в себя. Именно тогда купил Ханафи маленький сборник избранной лирики поэта и с волнением отыскал в нем «Памятник». Он выучил эти чеканные строки наизусть:

Слух обо мне пройдет  
по всей Руси великой,  
И назовет меня всяк  
сущий в ней язык...

И не мог Ханафи не назвать сына-первенца дорогим для него именем — в знак благодарности и коленипрелоненной признательности, что однажды и навсегда открыл для него поэт новое измерение чувств и мыслей, всего строя жизни. И когда уходил на фронт, оставлял дома жену с двумя детскими малолетками, не зная, придется ли свидеться вновь, взять на руки сына и дочь — война есть война, — верил Ханафи, что долг перед Родиной ему поможет выполнить поэт, который сошел с пьедестала, стал другом, советчиком, радостью бытия.

Так и случилось — храбро сражался солдат Ханафи Джанкёзов, вернулся домой с орденами и медалями, обнял повзрослевшего сына и дочь, жену Ингиль и с волнением произнес: «Вот я и дома, Пушкин!» А сын смотрел на просветленное лицо отца, еще не совсем понимая, как торжественно и в то же время просто соединилась в этих шести буквах вся отцовская жизнь.

Старый Ханафи никогда не был на площади Москвы, у того самого памятника, который обладает удивительным свой-

ством делать нас лучше и чище, возвышать наши души. Он никогда не ходил по аллеям Михайловского парка, не подымался по ступенькам крыльца дома-музея, не знает, что каждый год их ремонтируют, потому как стираются ступеньки — миллионы туристов со всех концов земли приезжают сюда. Не стоял у могилы Пушкина в Святогорском монастыре и не видел, как с памятника на этой могиле снимают стекла — ими его укрывают от стужи и ветра. Не прислушивался к верховому ветру, пощему в вековых липах и соснах, к тихому течению реки Сороти, на берегу которой не раз стоял в раздумьях поэт. Не бывал старый Ханафи и в Ленинграде, на Мойке, в том самом доме, где провел свои последние предсмертные часы Пушкин и где стрелки часов, остановленных Жуковским в черную скорбную минуту, навсегда застыли на двух часах 45 минутах пополудни.

Жаль, конечно, но так сложилась жизнь — в трудах, которые и сейчас не кончаются: работает Ханафи Джанкёзов и в свои 80 лет весовщиком на совхозном складе. Ему не подарила судьба свидания с пушкинскими местами, свиданием этим будут счастливы внуки — в это Ханафи верит твердо.

— Вы счастливым человеком, — сказала я Пушкину Джанкёзову, заведующему совхозным гаражом, и сама себя почувствовала счастливой: случайная встреча в который раз так неожиданно раскрыла величие поэта: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» Слух ли? Вечная слава, увенчанная всемирной любовью.

Р. ШУМСКАЯ.

ЧЕРКЕССК,  
Ставропольский край.